

ЛАРА ВЕЙН



Рыжая шельма
Эрмитажа

18+

Лара Вейн

Рыжая шельма Эрмитажа

<https://litres.ru/74667332>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мне двести восемьдесят три года, и я ни разу не сидела возле монарших особ. Императрица Елизавета велела кормить меня и не трогать. Николай I велел беречь замурованную стену. Блокадная девочка прятала меня под пальто. Я видела наводнение, пожар, винный погром Но в 2029 году в Эрмитаж пришёл директор, который меня слышит. Фрр. Кажется, принцип придётся пересмотреть.

Содержание

Глава 1. Фрр	4
Глава 2. Казанка	26
Глава 3. Чистый дворец	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Лара Вейн

Рыжая шельма Эрмитажа

Глава 1. Фрр

Январь 2029 года

Про моего отца написали книжку.

Толстую. С картинкой на обложке: он сидит на граните, рыжий бок к Неве, ухо рваное, морда мудрая, как у митрополита на покое. Тиражом, говорят, хорошим. Её продают в лавке Петропавловской крепости, рядом с магнитиками и шоколадками «Пётр Первый». Её читают дети. Её читают пенсионерки в метро и вытирают глаза. В книжке написано, что он основал Петербург.

Фрр.

Он не основал Петербург. Он сказал одному долговязому царю в мокрых ботфортах, где зарыто шведское серебро, а царь, чтобы никто не догадался, зачем он тут копает, построил вокруг ямы крепость. А вокруг крепости — город. А в городе — дворцы. А во дворцах — подвалы. А в подвалах — я.

Вот это и есть вся история Петербурга, если рассказывать её честно. Яма, вокруг яма побольше, и на дне кошка.

Про меня книжку не напишут. И слава богу.

* * *

Меня зовут Шельма.

Не Шельма Муровна, не ваше рыжее сиятельство, не «кис-кис-кис» — просто Шельма. Так меня назвал истопник Прохор, двести восемьдесят три года назад, когда я, котёнок размером с его рукавицу, стащила у него из миски варёную воблу и удрала с ней в печной продох. Прохор сунул руку следом, пошарил, вытащил руку без воблы и сказал с восхищением:

— У, рыжая шельма.

Так и пошло.

Я рыжая. Совсем рыжая, без серого, как кирпичная пыль на солнце. У меня белые носочки на всех четырёх лапах, будто я прошлась по свежей побелке, и белый кончик хвоста, будто я окунула его в сметану и забыла облизать. Глаза жёлтые. Уши целые — в отличие от некоторых. Усы длинные, белые, жёсткие, как щетина у дворника на метле.

Мне двести восемьдесят три года, и я ни разу в жизни не сидела возле монарших персон.

Это важно. Запомните, пожалуйста. Это мой принцип.

* * *

В ту ночь, с которой всё началось, я лежала на крыше Зимнего дворца, между двумя статуями, и смотрела на Неву.

Над Невой стоял мороз. Настоящий, январский, петербургский — тот, от которого не синеет нос, а исчезает вовсе. Минус двадцать три. Я это знаю не потому, что у меня есть градусник, а потому, что при минус двадцати лёд на Неве

поёт, а при минус двадцати трёх — кряхтит. Он кряхтел.

Статуи на крыше Зимнего — их сто семьдесят шесть, я пересчитывала много раз, когда было скучно, — стояли вокруг меня в инее, белые, как сахарные. Слева от меня был мужчина с факелом, справа — женщина с кувшином. Мужчину я звала Афанасием, потому что он похож на кучера, который возил императрицу Анну Иоанновну ещё до меня и про которого мне рассказывала мать. Женщину — никак. Она была мне не интересна. Она двести пятьдесят лет льёт из кувшина воду, которой нет, и ни разу не спросила, куда.

Я лежала на медном листе кровли, на том месте над печным стояком, где тёплый воздух поднимается из дворцовых подвалов, и грела живот. Это моё место. Его никто не знает. Ни коты, ни люди, ни голуби, ни главный инженер Эрмитажа, который лет сорок ищет, откуда на третьем этаже в Гербовом зале по ночам тянет теплом.

Внизу, на Дворцовой площади, было пусто. Горели фонари. Александровская колонна стояла, как всегда, ровно и мрачно, и ангел на ней держал крест так, будто крест был тяжёлый. Я помню, как её ставили. Две тысячи солдат тянули канатами. Мне было восемьдесят шесть лет, я сидела на карнизе Генерального штаба и смотрела, и когда колонна встала на место, вся площадь закричала «ура», а я фыркнула. Потому что подумала: а что, если она упадёт? Не упала. До сих пор стоит. Иногда я думаю, что это из вредности.

Над колонной в чёрном небе висела луна.

Я люблю луну. Луна единственная из всех, кто живёт над Петербургом дольше меня, кто никогда ни у кого не служил. Ни у царей, ни у генсеков, ни у губернаторов. Висит, светит, когда хочет, и ни перед кем не кланяется.

Мы с луной понимаем друг друга.

* * *

Под крышей, подо мной, спал дворец.

Я слышала, как он спит. Это звучит так: где-то далеко внизу гудят трубы отопления — у-у-у, ровно, как кот, который мурлычет во сне. В Тронном зале скрипит паркет — сам, без шагов, потому что ему двести лет и у него болят доски. В Галерее 1812 года тихо щёлкают датчики сигнализации. В подвалах шуршат.

Шуршат — это мыши.

И ещё шуршат — это мы.

Я не сказала? Нас тут много. Сорок семь, если считать с котятами. Не считая меня. Меня никто не считает, потому что меня, по большому счёту, нет. Я есть только для тех, кто знает. А тех, кто знает, — раз, два, и обчёлся.

Остальных сорок семь — эрмитажные коты. Официальные, с паспортами, с прививками, с ветеринарной картой, с фотографиями на сайте музея, с праздником в конце мая, с собственным пресс-секретарём, с подписчиками в сети. Мне это всё смешно. Фрр. Подписчики. Коту. Раньше у кота был один подписчик — мышь. И та против воли.

Все эти сорок семь — мои родственники. Так получилось.

Я не виновата.

Видите ли, у моего отца, того самого, из книжки, который основал Петербург, — у него за триста тридцать лет было много жён. Ну, не жён. Кошек. Дворцовых, монастырских, кабацких, купеческих, одна даже была из английского посольства, с бантом. И от каждой были котята. И все котята были обычные — жили, как живут коты, двенадцать лет, пятнадцать, двадцать, если повезёт, а потом уходили. А их котята были обычные. И котята их котят.

А он оставался.

И я осталась. Одна-единственная из всех его детей, кому досталось его проклятое долголетие. Двести восемьдесят три года. Рыжая. С белыми носочками. Без отца.

Остальные — все эти сорок семь в подвале — его правнуки, праправнуки и прапрапра... я сбилась со счёта примерно при Николае Первом. Они все пахнут им. Немножко. Чуть-чуть. Как пахнет чай, если в него один раз макнули сухарь.

И я тоже пахну им. И от этого мне иногда хочется вылизаться до костей.

* * *

Он про меня не знает.

То есть знает, конечно, что где-то что-то было, — коты не дураки, коты всё чувствуют. Но он не знает, что я жива. Он не знает, что я здесь. Я двести восемьдесят три года сделала так, чтобы он не знал.

Это несложно, если знать, как.

Нужно просто держаться подальше от монарших персон. Он всегда при них. Петр, Екатерина Первая, Анна, Елизавета, Екатерина Вторая, Павел, Александры, Николай, — он переходил от одного к другому, как переходит по наследству фамильное серебро. Мурлыкал на коленях. Спал на подушках с вензелями. Ел с серебряных вилок. Шёл за гробом каждого, кого пережил, а потом шёл к следующему, кто садился на трон.

Придворный кот. Шаркун. Мурлыка для августейших особ.

А я — нет.

Я — с крыш. Из подвалов. Из кухонь, из конюшен, из кабаков на Мойке, с Сенного рынка, из лодок на Неве. Я видела, как на этой площади вешали и как на ней танцевали. Я видела этот город с изнанки, с той стороны, где штопают. Я видела его таким, каким его не видел ни один царь. И ни один царский кот.

И когда он проходил мимо — в карете, на руках у какой-нибудь фрейлины, в корзинке, обшитой бархатом, — я уходила. За угол. На крышу. В продух. По ветру, чтобы он меня не учуял.

Двести восемьдесят три года.

Мне это нравится. Это, если хотите, мой единственный подвиг.

* * *

Внизу, у подъезда со стороны Зимней канавки, хлопнула

дверь.

Я подняла голову.

Это была Тамара Ильинична. Я узнала её по шагам — она идёт так, будто под ногами у неё лёд, даже когда льда нет. Мелко, осторожно, чуть припадая на левую ногу. Семьдесят два года. Сорок лет в Эрмитаже. Сначала смотрительницей в залах голландцев, потом — когда ноги стали болеть — в хозяйственной части. А по вечерам, уже сорок лет, бесплатно, сверх всякой ставки и всякого приказа, — в подвалах. С кастрюлями.

Она несла две сумки. В одной звякало — банки с кормом. В другой булькало — кастрюля с варёной рыбой. Я различала запах с крыши. Минтай. Отваренный с лавровым листом. Тамара Ильинична верила, что лавровый лист полезен для кошачьего пищеварения. Это неправда. Но она в это верила так твёрдо, что, кажется, и на нас действовало.

Она прошла по двору, отперла низкую дверь в цоколе и исчезла внизу.

Я подождала минуту. Потом встала, потянулась — от носа до кончика хвоста, с хрустом, с удовольствием, как тянутся только старые кошки, которым некуда торопиться, — и пошла к своему продукту.

Ужин.

* * *

Путь с крыши в подвал занимает у меня семь минут.

Я не скажу вам, как я иду. Это тайна, и тайна старше Зим-

него дворца, потому что дорогу я начала прокладывать ещё в старом дворце, том, что стоял на этом месте до нынешнего и куда мою мать привезли из Казани. Потом старый разобрали, двор восемь лет жил во временном деревянном дворце на Невском, у Мойки, а Растрелли тем временем строил этот, каменный. Я переселилась в него одной из первых, раньше императрицы, и сорок лет обнюхивала каждую стену, каждый дымоход, каждую щель в фундаменте. Я знаю этот дворец лучше, чем знал его Растрелли. Растрелли не лазил по вентиляции.

Скажу только, что половину пути я прохожу внутри стены. Что есть одно место, где надо прыгнуть через пустоту, и внизу под тобой сорок метров темноты до самого фундамента. Что есть другое место, где пахнет порохом, хотя пороха там нет с тысяча восемьсот восьмидесятого года. И что есть третье место, где я каждый раз останавливаюсь. На одну секунду. Возле кирпичной кладки, которая на ощупь холоднее остальных стен.

За этой кладкой — комната. Её замуровали в декабре тысяча восемьсот тридцать седьмого года, в ту ночь, когда горел дворец. Я видела, как это делали. Я была там.

Я никогда не рассказывала об этом ни одному живому существу.

Я останавливаюсь у неё на секунду. Нюхаю. Там пахнет сургучом, старым деревом и чем-то ещё. Чем-то, от чего у меня каждый раз встаёт шерсть на загривке, а я не понимаю

почему.

Потом иду дальше.

* * *

В подвале было тепло, сыро и шумно.

Подвалы под Зимним — это отдельный город. Если бы вы спустились туда, вы бы удивились. Там коридоры длиной в полкилометра. Там трубы толщиной в корову. Там кладовые, мастерские, склады, щитовые, бомбоубежища с железными дверями, которые закрывали в сорок первом и больше не закрывали. Там своя погода. Там свои сквозняки, которые приходят откуда-то из прошлого века и уходят в позапрошлый.

И там — наша часть. Кошачья.

Люди называют её «кошачьим подвалом». Это несколько комнат под Малым Эрмитажем: кухня, где Тамара Ильинична и другие кормят котов, комната с лежанками, ящиками, полками и старыми свитерами, которые сердобольные сотрудники приносят из дома, и маленькая ветеринарная комната, где пахнет хлоргексидином и страхом.

На кухне горел свет. Тамара Ильинична раскладывала рыбу по мискам.

Вокруг неё стояли коты.

Сорок семь. Ну, сорок пять — двое болели и лежали в ветеринарной. Все расселись полукругом, как гости на званом обеде, хвосты аккуратно обёрнуты вокруг лап. Никто не лез. Никто не орал. Эрмитажные коты — воспитанные. Это вам

не с Сенного рынка. Это интеллигенция.

В центре полукруга сидел Рембрандт.

Рембрандт — старший. Ему шестнадцать лет. Он полосатый, серый, с тёмными разводами на боках, похожими на лужи после дождя, и с бакенбардами, как у купца первой гильдии. Он двенадцать лет ловил мышей в зале голландцев, под «Возвращением блудного сына», и ни разу не позволил себе ничего лишнего. Ни одной поцарапанной рамы. Ни одной лужи на паркете. Говорят, однажды он поймал крысу размером с таксу прямо под ногами у делегации из Амстердама, и делегация аплодировала. Рембрандт не повёл и ухом. Отнёс крысу на служебную лестницу и положил там, как отчёт.

Он увидел меня первым.

Он всегда видит меня первым. Ему одному из всех я позволяю.

— Добрый вечер, тётушка, — сказал он. Негромко, по-нашему, без звука. Так говорим мы — прямо в голову.

Он зовёт меня тётушкой. Это неправда, я ему не тётушка, я ему прапрапра-кто-то-там. Но тётушка ему проще. А мне всё равно.

— Фрр, — сказала я.

Это значит «добрый вечер». И «не начинай». И «я вижу, что у тебя есть новости, и я заранее знаю, что они мне не понравятся». Одно «фрр» может значить очень многое. Это моё слово. Мурлыкать я не люблю. Мурлыкают придворные.

Я обошла полукруг. Коты при моём приближении чуть

отодвигались, кто на полшага, кто на четверть, — не из страха, из уважения. Кто-то склонял голову. Кто-то, наоборот, отворачивался — молодёжь, им положено. Белая Мадонна — она сидела отдельно, на табуретке, потому что не любит, когда пол холодный, — посмотрела на меня голубыми глазами и демонстративно лизнула лапу.

Мадонну зовут Мадонной, потому что её нашли котёнком в коробке под «Мадонной Литтой», в зале Леонардо, восемь лет назад. Кто подкинул — так и не узнали. Она до сих пор считает, что её прислали прямо оттуда. С картины.

Фрр.

Пират — одноглазый, чёрный, с порванным ухом и голосом, как у бoцмана, — сидел в самом конце, ближе всех к двери, и смотрел на рыбу так, будто собирался взять её на abordаж. Пирату восемь лет, и половину из них он провёл в драках с котами из Адмиралтейского сада, которые иногда пробираются к нам через Зимнюю канавку. Пират — моя гордость. Я учила его драться. Он об этом не знает.

Я забралась на свой подоконник. Под потолком, в дальнем углу, где узкое окно-продух смотрит во двор. Это моё место. Его никто не займёт. Однажды занял один молодой рыжий наглец, в восемьдесят седьмом. Больше не занимал.

Тамара Ильинична подняла голову.

Она посмотрела прямо на мой подоконник. Прищурилась. — А, — сказала она. — Пришла, рыжая.

Я молчала.

— Твоя миска вон, — сказала Тамара Ильинична и кивнула на маленькую фаянсовую миску с синим ободком, которая стояла отдельно, на полке под моим окном. — С лавровым листом. Как ты любишь.

Я не люблю лавровый лист.

Но Тамара Ильинична — единственный человек в этом дворце, который видит меня. Не догадывается, не замечает краем глаза, как замечают иногда реставраторы, засидевшиеся допоздна, и потом говорят друг другу: «Мне показалось, кошка прошла». А видит. Прямо. И знает, что я — это я.

Она не знает, сколько мне лет. Она думает, я просто старая. Хитрая. Дикая. Из тех, кто не даётся в руки и не стоит на учёте, и которую поэтому нет на сайте, и нет в списке, и нет на празднике в конце мая. Она думает, мне лет пятнадцать.

Она ставит мне миску сорок лет.

Я не говорю ей, что это странно. Что ни одна кошка не живёт сорок лет. Она тоже не говорит. Мы обе делаем вид, что это нормально. Это у нас такое соглашение.

Я спрыгнула на полку. Понюхала рыбу. Минтай. Лавровый лист.

Фрр.

Съела.

* * *

После ужина Тамара Ильинична не ушла.

Обычно она уходит сразу. Моет кастрюлю, вытирает руки, говорит котам: «Ну, спокойной ночи, ребятки», выключает

свет и уходит, оставляя одну лампочку над дверью, — чтобы маленькие не боялись. А сегодня она села на табуретку у стола, на ту, что освободила Мадонна, сложила руки на коленях и долго сидела, глядя в пол.

Коты, наевшись, расходились по лежанкам. Кто-то умывался. Котята затеяли возню под столом. Рембрандт сидел у её ног и смотрел на неё снизу вверх, как сидят на приёме у хорошего доктора.

Тамара Ильинична вздохнула.

— Ребятки, — сказала она. Вслух. Она всегда разговаривает с нами вслух. — Ребятки, плохо дело.

Коты притихли. Даже котята.

Люди думают, что коты не понимают слов. Это не так. Мы понимаем не слова. Мы понимаем, что под ними. А под словами Тамары Ильиничны было что-то тяжёлое. Как лёд на Неве при минус двадцати трёх. Кряхтело.

— У нас новый директор, — сказала Тамара Ильинична. — Вы знаете. С декабря. Молодой. Из этих... из компьютерщиков. Говорят, у него была своя фирма, что-то там с искусственным интеллектом. А теперь его к нам. Чтобы, значит, музей был современный.

Она помолчала.

— Он хороший, наверное, — сказала она неуверенно. — Вежливый. Здоровается. На «вы» со всеми, даже с уборщицами. Но он... он всё считает. У него на всё таблица. Сколько посетителей в каком зале. Сколько минут стоят у какой

картины. Сколько стоит квадратный метр. Он ходит по залам с планшетом и считает.

Она вздохнула ещё раз.

— Сегодня было совещание. Он сказал, что будут ставить новую систему. Какую-то... «Чистый дворец». С камерами. С нейросетью. Чтобы следила за санитарным состоянием. Влажность, плесень, грызуны... и всё такое. И он сказал... — Она остановилась. — Он сказал, что по предварительным данным системы коты в подвалах представляют собой «неконтролируемый биологический фактор». И что вопрос о дальнейшем содержании котов будет пересмотрен.

В подвале стало очень тихо.

— Я спросила: как пересмотрен? — сказала Тамара Ильинична. — А он сказал: «Тамара Ильинична, давайте дождёмся данных. Я не принимаю решений без данных». Вежливо так сказал. А я на него посмотрела и поняла.

Она подняла голову. Посмотрела на котов. На Рембрандта у своих ног. На Пирата у двери. На котят под столом.

— Он вас выселит, ребятки, — сказала она тихо. — Не со зла. По таблице.

* * *

Тамара Ильинична ушла поздно. Посидела ещё. Погладила Рембрандта, который позволяет себя гладить только ей. Поправила свитер на лежанке у котят. Выключила свет. Оставила лампочку над дверью.

Ушла.

Я сидела на подоконнике и смотрела на дверь, за которой затихали её шаги.

Мелко, осторожно, чуть припадая на левую ногу.

Выселит. Фрр.

Меня выселяли из этого дворца, если считать по-честному, раз двадцать. При Екатерине — когда она завела левреток и велела «известить котов в покоях». При Павле — когда он запретил всё, что не по уставу, а кот не по уставу. При Николае — после пожара, когда новый дворец строили так, будто его будут мыть с мылом. При большевиках — когда искали «буржуазные элементы» и нашли, в том числе, кота графини Шуваловой, жившего на кухне. В блокаду...

Нет. В блокаду меня не выселяли. В блокаду всё было иначе. Про блокаду потом.

Каждый раз меня выселяли, и каждый раз я никуда не уходила. Потому что нельзя выселить того, кого нет. Я — нигде. Меня нет в списках. Меня нет на камерах — я знаю, где они висят, и знаю, как их обходить, ещё с тех пор, когда камер не было, а были лакеи с фонарями. Меня нет в таблицах.

Пусть он выселяет сорок семь. Меня он не выселит.

Так я сказала себе. Сидя на подоконнике. В темноте.

Фрр.

И почему-то мне не стало легче.

* * *

Внизу, под столом, кто-то шевельнулся.

Маленький. Серый. С рыжими подпалинами на боках.

Тишка.

Тишке пять месяцев. Он родился в августе, в ящике из-под бумаги для принтера, в бухгалтерии, у кошки Фроси, которая потом ушла жить к бухгалтерше домой, на Васильевский, а котят оставила. Трое котят разобрали. Тишка остался. Потому что тощий, и ухо у него с рождения чуть набок, и характер — как у сквозняка: везде пролезет, ничего не боится, ни на минуту не сидит.

И ещё потому, что он похож.

Я старалась не думать об этом. Я пять месяцев старалась об этом не думать. Но каждый раз, когда этот маленький серый с рыжими подпалинами нахал прыгал мне на хвост, — каждый раз меня как будто окатывало запахом. Тем самым. Которого я двести восемьдесят три года избегала, держась по ветру.

Серый. С рыжими подпалинами. Ухо набок.

Он был похож на отца так, будто отец, уходя по своим придворным делам, оставил тут маленькую копию себя. Для присмотра.

Тишка выбрался из-под стола. Посмотрел наверх, на мой подоконник. Глаза у него в темноте светились, как две копейки.

— Тётушка Шельма, — сказал он. Тоненько. Для его возраста — очень чисто. Котята обычно до года говорят так, будто у них каша во рту. А этот — как по писаному. — Тётушка Шельма, а правда, что нас выселят?

— Спи, — сказала я.

— А куда нас выселят?

— Спи, говорю.

— А вас тоже?

— Меня никуда не выселят. Меня нет.

Тишка подумал.

— Как это нет? — сказал он. — Вы же есть. Я же вас вижу.

— Это тебе кажется.

— Нет, не кажется, — упрямо сказал Тишка. — Вы рыжая. И у вас носочки. И вы всё время говорите «фрр». Я же вижу.

Фрр.

— Спи, — сказала я в третий раз. Тем голосом, после которого даже Пират уходит под лавку.

Тишка не ушёл под лавку. Он сел. Обвил хвостом лапы — точно так же, как это делает... нет. Не буду. Не буду думать.

— Рембрандт говорит, — сказал Тишка, — что есть один кот. Самый старый. Старше всех. Старше дворца. Он основал Петербург. Про него книжку написали. Рембрандт говорит, если он придёт, он всё решит. Он всех царей знал. Он с директорами умеет. Рембрандт говорит, надо его позвать.

У меня внутри что-то оборвалось.

Не сразу. Медленно. Как обрывается сосулька с карниза Зимнего в марте — сначала висит, висит, ты думаешь, что она будет висеть вечно, а потом раз — и уже лежит на тротуаре, разбитая, и непонятно, когда это случилось.

— Рембрандт, — сказала я. Не Тишке. В темноту. Туда, где на лежанке у трубы лежал серый полосатый старик с бакенбардами и делал вид, что спит. — Рембрандт, ты что ребёнку голову морочишь?

Рембрандт открыл один глаз.

— Добрый вечер, тётушка, — сказал он ещё раз. Спокойно. Как будто мы не виделись два часа назад. — Я не морочу. Я думаю.

— Ты много думаешь.

— Я старый, — согласился Рембрандт. — Мне больше нечем заниматься. — Он помолчал. — Тётушка, вы ведь знаете, о ком речь.

— Не знаю.

— Знаете. Он живёт на Мойке. В доме девяносто два. У портнихи. У неё недавно дочка родилась. Об этом весь город знает. Об этом в газете писали, когда он клад в Петропавловке нашёл. Он — легенда. Он — наш... ну, вы понимаете. Наш общий. Мы все от него.

— Я в курсе, от кого мы все.

— Тогда вы понимаете, — сказал Рембрандт, — что если кто и может поговорить с директором, так это он. Он умеет с людьми. Он с Петром Первым разговаривал. Он...

— Нет, — сказала я.

— Тётушка...

— Нет.

— Сорок семь котов, тётушка. Тамара Ильинична плака-

ла. Вы видели.

— Я видела, — сказала я. — Нет.

Рембрандт смотрел на меня одним открытым глазом. Долго. Он знает меня шестнадцать лет. Он знает, что я — это я. Он единственный из всех догадывается, сколько мне на самом деле. Не говорит. Но догадывается. И, кажется, догадывается ещё кое о чём. О том, почему я ни разу за шестнадцать лет не произнесла вслух имя того, кто живёт на Мойке, девяносто два.

— Хорошо, тётушка, — сказал он наконец. — Как скажете.

И закрыл глаз.

Слишком быстро согласился.

Фрр.

* * *

Я ушла на крышу.

Мне надо было подумать, а думать я могу только на высоте. В подвале думается тяжело — там потолки низкие, и мысли упираются в своды, как дым.

Луна сдвинулась. Теперь она висела над Петропавловкой. Над шпилем. Над ангелом.

Над тем самым местом, где когда-то, в мае тысяча семьсот третьего года, долговязый царь в мокрых ботфортах вырезал багинетом два куска дёрна и сложил их крестом, а рядом на коряге сидел облезлый серый котёнок с рыжими подпалинами и вылизывал лапу.

Я этого не видела. Меня тогда ещё не было. Мне рассказала мать. А матери — он. Когда-то давно, когда они ещё разговаривали. Когда он ещё приходил к ней в подвал старого дворца, раз в неделю, после того, как императрица засыпала. Когда он ещё был... не знаю, кем. Отцом? Нет. Отцом он не был ни дня.

Я лежала на тёплом месте над печным стояком, рядом с Афанасием, и смотрела на ангела.

Внизу, на другом берегу, за Невой, в крепости, в Комендантском доме, на втором этаже, в витрине под стеклом, — я знаю, я была там ночью, один раз, чтобы посмотреть, — лежит записка Петра и голландский гульден. И табличка: «Тайник обнаружен благодаря коту Муру (род. ок. 1697 г.?)».

С вопросительным знаком.

Двести восемьдесят три года я держалась по ветру. Двести восемьдесят три года я знала, где он, и уходила за угол. Двести восемьдесят три года я была рыжей шельмой, которой нет.

И вот теперь мои собственные правнуки, или кто они мне там, хотят позвать его сюда. В мой подвал. В мой дворец. В мою жизнь.

Нет.

Нет-нет-нет.

Фрр.

* * *

Я пролежала на крыше до рассвета.

Январский рассвет в Петербурге — это не рассвет. Это когда небо из чёрного становится тёмно-серым, и тёмно-серым остаётся до обеда, а после обеда снова становится чёрным. Но я дождалась. Мне надо было увидеть, как над Невой поднимается серое, чтобы понять, что ночь кончилась.

Когда я спустилась в подвал, коты спали. Все. Сорок пять на лежанках. Двое в ветеринарной.

Рембрандт спал на своей лежанке у трубы. По-настоящему, а не притворялся — я слышу разницу.

Пират спал у двери. Мадонна — на табуретке. Котята — кучей в коробке со свитером.

Я пересчитала котят. По привычке. Я всегда пересчитываю котят. С тысяча восемьсот тридцать седьмого года — всегда.

Раз. Два. Три. Четыре.

Тишки не было.

Я пересчитала ещё раз.

Четыре. Должно быть пять.

Я обошла подвал. Кухню. Ветеринарную. Под столом. За трубами. В ящике из-под бумаги для принтера, где он родился и куда иногда забирается, когда ему грустно.

Тишки не было.

Я вернулась к лежанке у трубы. Рембрандт открыл глаза. Оба. Сразу. Будто и не спал.

— Где он? — спросила я.

Рембрандт молчал.

— Где он, Рембрандт?

Рембрандт вздохнул. Долго. Тяжело. Как вздыхают старые коты, которые знают, что сейчас им попадёт, и считают, что оно того стоило.

— На Мойке, тётушка, — сказал он. — Девяносто два. Ушёл ночью, как вы на крышу поднялись. Через Зимнюю канавку и вдоль набережной. Он быстрый. Он дойдёт.

Фрр.

Я не нашлась, что сказать. Впервые за двести восемьдесят три года — не нашлась.

Я стояла посреди подвала, рыжая, с белыми носочками, с белым кончиком хвоста, и смотрела на старого полосатого кота, который только что сделал то, чего я избегала почти три века.

И где-то там, за Невским, на Мойке, по заснеженной набережной, маленький серый котёнок с рыжими подпалинами и ухом набок бежал к моему отцу.

Глава 2. Казанка

1745–1746 годы

Мою мать привезли в Петербург в корзине для котов, которых велено было кастрировать.

Вы думаете, я шучу. Я не шучу. Я вообще редко шучу. Это отец у нас мастер на шутки, а я рассказываю как было.

Тринадцатого октября тысяча семьсот сорок пятого года императрица Елизавета Петровна подписала указ. Он до сих пор хранится где-то в архиве, и его иногда печатают в газетах к празднику эрмитажных котов, и все умиляются. Указ велел «сискать в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловлению мышей», и прислать их ко двору, в Петербург, «с таким человеком, который бы мог за ними ходить и кормить».

Кладеных. То есть таких, которые к семейной жизни непригодны. Чтобы ловили мышей, а не бегали по крышам с серенадами. Императрица была дама практичная, когда дело не касалось платьев.

Тридцать котов. Кладеных. Больших. Казанских.

И одна кошка.

Её никто не заказывал.

* * *

Казанские коты в те времена славились на всю Россию. Почему именно казанские — никто толком не знал. Говори-

ли, будто бы в Казани особый воздух. Говорили, будто бы там мыши крупнее и злее, и коты от этого злее тоже. Говорили, будто бы ещё при Иване Грозном, когда он брал Казань, оттуда первым делом вывезли не золото и не пленных, а кота хана, и кот этот потом сорок лет жил в Кремле и передушил всех кремлёвских крыс.

Мать говорила, что всё это враки. Что казанские коты — обыкновенные коты, просто у купцов на Волге амбары с зерном огромные, и коты там с детства работают, как бурлаки. Привычные.

Отбирать котов поручили казанскому губернатору, а губернатор поручил вице-губернатору, а вице-губернатор — какому-то приказному, а приказной — купцу Ахмету Юнусову, у которого были самые большие амбары в Ямской слободе и, соответственно, самые большие коты.

У Ахмета Юнусова была кошка.

Рыжая. Тощая. Злая, как оса. С белыми носочками на всех четырёх лапах и с белым кончиком хвоста.

Ахмет звал её Кызым. По-татарски — «доченька». Она спала у него на груди. Ела у него из рук. Провожала его до ворот амбара каждое утро и встречала каждый вечер. Он был вдовец, бездетный, и ему не с кем было больше разговаривать, кроме неё.

Когда пришёл указ, Ахмет сам отобрал тридцать котов. Самых лучших. Самых больших. Самых злых. Сам отвёз их к коновалу. Сам сшил для них тридцать корзин, обшитых

изнутри войлоком, потому что ехать предстояло зимой, через всю Россию, полторы тысячи вёрст. И сам вызвался ехать с ними, тем самым человеком, «который бы мог за ними ходить и кормить», потому что больше вызвать было некого — никто в здравом уме не хотел тащиться зимой в Петербург с тридцатью котами.

А Кызым оставил дома. С соседкой.

Сказал ей: жди.

Она не стала ждать.

* * *

Мать рассказывала мне эту историю, наверное, сто раз. Я была маленькая и всё время просила: ещё, ещё. Ей нравилось рассказывать. Ей вообще нравилось вспоминать Казань, — больше, чем Петербург, — и когда она рассказывала, у неё глаза становились узкими, как будто она смотрела против солнца.

Обоз выехал из Казани в конце ноября. Двенадцать саней. На одних — Ахмет и его сундук. На других — сено. На третьих — мороженная рыба для котов, сорок пудов. На остальных — корзины. По три корзины на санях, по коту в корзине. Корзины привязали верёвками, укрыли рогожей, и обоз тронулся.

На второй день пути, на постоялом дворе под Чебоксарами, Ахмет пересчитывал котов перед сном и насчитал тридцать один.

Он пересчитал ещё раз. Тридцать один.

Он пошёл по саням с фонарём и стал открывать корзины одну за другой. Кот. Кот. Кот. Кот. Все тридцать — серые, полосатые, рыжие, чёрные, большие, сердитые, сонные. А в двадцать седьмой корзине, рядом с огромным серым котом по прозвищу Бек, лежала рыжая тощая кошка с белыми носочками и смотрела на него жёлтыми глазами.

— Кызым, — сказал Ахмет.

Мать говорила, что он заплакал. Прямо там, на морозе, с фонарём в руке. И что сначала он хотел отправить её назад с попутными санями, а потом подумал, что попутных саней не будет до весны. А потом подумал, что она как-то сорок вёрст проехала в чужой корзине, рядом с чужим котом, на морозе, лишь бы с ним. И что, наверное, она его любит больше, чем он думал. И что, наверное, он её тоже.

И он оставил её. Посадил в свой тулуп. За пазуху. И так они и ехали дальше, полторы тысячи вёрст. Тридцать кладеных котов в корзинах, один купец в тулупе и одна рыжая кошка у него за пазухой, высовывающая из-за ворота нос на каждой почтовой станции, чтобы посмотреть, где она.

Нижний Новгород. Владимир. Москва. Тверь. Новгород. Петербург.

* * *

В Петербург обоз пришёл в середине декабря. Был мороз, была метель, был ветер с залива, от которого у матери, при-
выкшей к сухой волжской зиме, заложило нос на неделю.

Императрица жила тогда в Зимнем дворце — не в нынеш-

нем, а в старом, том, что стоял на этом же месте до нынешнего. Его строил ещё архитектор Растрелли-младший для Анны Иоанновны, когда был молод, и строил, говорят, в спешке. Он был большой, неудобный, с бесконечными переходами, с печами, которые дымили, с окнами, которые не закрывались, и с мышами. О, с мышами. Мать говорила, что мышей там было столько, что по ночам пол шевелился.

Котов приняла дворцовая контора. Пересчитали. Записали. Тридцать котов, кладеных, больших, казанских. Ахмету Юнусову выдать жалованье за доставку и прокорм и отпустить домой.

Про кошку никто ничего не записал. Её не было в бумагах. Её не было в указе. Её, если по-честному, не существовало. Вот видите — это у нас семейное.

Ахмет пробыл в Петербурге неделю. Устраивал котов. Учил дворцовых лакеев, как их кормить, сколько давать рыбы, как давать воду, чтобы не замерзала. Ходил по подвалам и показывал котам, где мыши. А потом пришёл день отъезда.

Мать рассказывала, что он долго сидел с ней на кухне, в людской, у печки. Гладил её. Говорил с ней по-татарски. А потом сказал по-русски, чтобы, наверное, слышали лакеи:

— Тут тебе лучше будет, Кызым. Тут дворец. Тут царица. Тут мыши жирные. А у меня что — амбар да я старый.

И ушёл.

А она осталась.

Она мне никогда не объясняла, почему не побежала за

ним. Почему не залезла опять в корзину, в сено, в сундук. Она могла. Она была умная. Она сорок вёрст проехала в чужой корзине, чтобы не расставаться с ним, а потом взяла и осталась. Я много раз спрашивала. Она молчала. Только один раз, уже совсем незадолго до конца, сказала:

— Он сам сказал — тут лучше. Он хотел, чтобы мне было лучше. Если бы я за ним побежала, он бы подумал, что мне здесь плохо. Я не хотела, чтобы он так думал.

Я тогда не поняла. Мне было три года, я была глупая и рыжая.

Я поняла потом. Лет через двести.

* * *

Во дворце её называли Казанкой. Лакеи. Потому что из Казани. Просто, как дважды два. Как имена, которые даёт дворня: Казанка, Рыжуха, Мурка, Васька. Мать не возражала. Имя «КЫЗЫМ» было для одного человека, а он уехал.

И тридцать котов из Казани тоже перестали быть казанскими. Их разобрали по дворцу. Одних — в подвалы, к амбарам, к погребам. Других — на кухни. Третьих — в покои, во флигели, к фрейлинам, которые боялись мышей больше, чем Бога. Бек, тот, в чьей корзине мать проехала сорок вёрст, попал в покои самой императрицы, в спальню, и прожил там двенадцать лет, толстый, ленивый и вечно недовольный, как старый генерал. Остальные...

Остальных мать иногда навещала. Они относились к ней как к сестре. Кладеные коты, знаете ли, очень добрые. Им

нечего делить.

Мать поселилась в подвале. Под кухней. Там было тепло от печей, сухо, и там были мыши. Она ловила их по ночам и складывала у порога людской, рядом, на счастье, как складывала когда-то у порога амбара в Ямской слободе. Лакеи привыкли. Повара привыкли. Истопник Прохор, который топил кухонные печи и жил тут же, в каморке за печью, — привык больше всех.

Прохор был огромный, бородатый, со шрамом через всю щёку, от уха до губы. Говорили, его в молодости медведь подрал. Говорили, это он под Полтавой. Он сам никому ничего не говорил, он вообще почти не разговаривал. Он топил печи. Утром, днём и ночью. Он спал по три часа в сутки. И он каждый вечер ставил на пол у своей каморки миску с молоком.

Не для неё. Просто так. Для кошки. Любой.

Но приходила она.

* * *

А в феврале тысяча семьсот сорок шестого года на кухню пришёл отец.

Мать рассказывала мне это так подробно, что мне иногда кажется, будто я помню сама.

Была ночь. Императрица не спала. Императрица Елизавета Петровна вообще никогда не спала по ночам — это знает каждый, кто хоть немного читал про неё. Она боялась ночи. Боялась, что придут ночью, как она сама когда-то пришла

ночью к маленькому императору Иоанну Антоновичу и его матери, в гренадерской кирасе поверх платья, с крестом в руке. Она знала, как это делается, и поэтому не спала. Она ложилась на рассвете, а всю ночь сидела, гуляла по дворцу, играла в карты, ела, слушала сказки, которые ей рассказывали специально нанятые старухи-чесальщицы, — они чесали ей пятки и рассказывали сказки, и это не я придумала, это было на самом деле.

И рядом с ней всю ночь был кот.

Серый. С рыжими подпалинами на боках. С левым ухом, разорванным ещё в Голландии, на верфи, в драке с каким-то тамошним амбарным котом. Худой, жилистый, с хитрой мордой и с привычкой говорить «мур» через каждые два слова.

Он был у неё с самого детства. С тех пор, как она, маленькая, бегала по Летнему саду в платьице с крылышками, как у ангела, — тогда так одевали царских дочерей на праздники. А до того он был у её отца. У Петра.

Вся дворня его знала. Его звали Мур. Говорили, что он старше дворца. Говорили, что он старше Петербурга. Говорили, что он и есть тот самый кот, которого Пётр Великий привёз из Голландии, — хотя тот кот, всякому ясно, давно должен был помереть, ведь коты столько не живут. А этот жил. И не старел. И сидел на коленях у императрицы. И императрица говорила с ним по ночам, а он, как утверждали горничные, ей отвечал.

Горничным не верили. Горничные вообще много чего говорят.

В ту ночь, в феврале сорок шестого года, императрица отправилась на кухню. Так бывало. Ей вдруг среди ночи хотелось солёных огурцов, или пирога с вязигой, или щей, и она не звала никого, а шла сама — со свитой из двух фрейлин и одного кота. Повара вскакивали с лавок, кланялись, кидались к печам. А императрица садилась за простой стол, за которым обедала дворня, и ела щи деревянной ложкой, и смеялась, и говорила, что так вкуснее, чем на серебре.

Кот шёл за ней.

А под столом, у печи, сидела рыжая кошка с белыми носочками.

* * *

Мать говорила, что это было как молния.

Я ей не верю. У котов не бывает молний. У котов бывает запах. Ты чуешь запах — и всё. Ты знаешь. Никаких молний.

Но мать говорила: молния. И я не спорила. Она имела право называть это как хотела.

Он увидел её из-под стола. Она — его. И он, мать говорила, остановился как вкопанный, посреди кухни, на полдороге между императрицей и печью, и стоял так, пока императрица не позвала его: «Мурушка, ты чего?» А он не пошёл. Впервые, говорила мать, впервые за всю жизнь — не пошёл на её голос.

Он пошёл под стол.

Он сел напротив матери. Посмотрел ей в глаза. И медленно, очень медленно, закрыл и открыл глаза.

Я знаю, что это значит. Вы знаете, что это значит. Это кощачий поклон. Самый глубокий из тех, что у нас есть.

Мать сказала мне, что не ответила. Что фыркнула. И отвернулась.

Я в неё.

* * *

Он приходил каждую ночь.

Когда императрица засыпала на рассвете, он уходил из спальни. Тихо, на мягких лапах, мимо дежурной фрейлины, которая дремала в кресле у двери, мимо часового у лестницы, через переходы, через галереи, вниз, в подвал, на кухню. И садился у печи. Возле Прохоровой миски с молоком.

Сначала мать на него не смотрела.

Потом стала смотреть.

Потом стала с ним разговаривать.

Он рассказывал ей про Голландию. Про верфь в Саардаме, где он родился в ящике под верстаком и где высокий русский плотник в кожаном фартуке однажды заговорил с ним, а он ответил. Про то, как они с плотником плыли по морю в Россию, и плотника рвало за борт, а кот смеялся. Про болото на Заячьем острове. Про шведское серебро. Про царицу Екатерину, первую, ту, что была прачкой, а стала императрицей, и которая кормила его пирожками. Про маленькую Лизаньку в платье с крылышками.

Мать рассказывала ему про Казань. Про Волгу, широкую, как море. Про амбары в Ямской слободе. Про Ахмета, который пел ей песни по-татарски.

Ей было три года. Ему было — она не знала, сколько. Он не говорил. Отшучивался. «Мур-р. Много, Казаночка. Мур. Больше, чем тебе. Мурр».

Она не спрашивала.

* * *

Я не знаю, была ли это любовь.

Мать говорила — да. Мать говорила, что никогда в жизни, ни до, ни после, ни с Ахметом, ни с котами, ни с кем — никогда не было так. Что с ним было тепло, как у печки, и страшно, как на льду, одновременно. Что он смешил её так, что она каталась по полу. Что он однажды принёс ей из императорской спальни, в зубах, шёлковую ленту — голубую, из причёски самой Елизаветы, и мать спала на этой ленте до самой смерти.

Я эту ленту видела. Она лежала в углу материного логова, в подвале, затёртая, грязная, когда-то голубая, а потом серая. Когда мать умерла, я...

Нет. Это потом.

Я не знаю, была ли это любовь. Я кошка, а не фрейлина. Но я знаю одно. Он приходил к ней каждую ночь. Всю ту весну. Каждую ночь, пока императрица спала. А потом, на рассвете, уходил наверх. К ней. К той, у которой на коленях спал. К той, кому мурлыкал. К той, у которой был трон.

Каждый раз уходил наверх.

* * *

Я родилась в мае тысяча семьсот сорок шестого года. В подвале, под кухней. В углу за печью Прохора, на старом овчинном тулупе, который Прохор то ли бросил, то ли нарочно постелил.

Нас было четверо. Я и три брата. Братья были серые, с рыжими подпалинами, все в отца. А я — рыжая. Совсем рыжая. С белыми носочками и белым кончиком хвоста. Вся в мать.

Мать говорила, что когда отец пришёл в ту ночь и увидел нас, он долго сидел и смотрел. А потом подошёл и вылизал каждого. Братьев — быстро, по разу. А меня — долго. И сказал: «Мрр... Эта — моя. Мур. Эта — останется».

Мать не поняла, что он имел в виду.

Она поняла через три года. Когда братья выросли и разошлись по дворцу, и стали обычными дворцовыми котами, и старели, как стареют коты, — а я не старела. Ей было шесть лет, когда она поняла. Она тогда пришла к отцу и спросила, что он сделал с её дочерью.

Он сказал: «Мур... ничего. Мрр. Это не я. Мур-р. Это кровь».

Она не поверила.

Я тоже. До сих пор.

* * *

Первое, что я помню, — запах овчины. Тёплый, кислый, густой. Я тычусь носом в мокрую шерсть тулупа, и мне хо-

рошо.

Второе, что я помню, — огонь. Прохор открывает дверцу печи, и оттуда вырывается свет, жёлтый, ослепительный, и жар, и треск, и я пищу от страха и лезу под мать.

Третье — голос. Низкий, мягкий, с мурлыканьем: «Мур... маленькая моя. Мурр. Рыжая». И тёплый язык, шершавый, который проходится мне от носа до затылка.

Это был он. Это единственное, что я помню про отца из детства. Голос и язык. Больше ничего. Потому что потом...

Потом было потом. И этого я рассказывать пока не буду.

* * *

А ещё я помню, как получила имя.

Это было через полгода. Я уже бегала. Я уже лазила по печным трубам, по полкам, по мешкам с мукой, по Прохоровой бороде, пока он спал. Я уже научилась воровать. Это у меня само получилось. Мать не учила. Мать была честная, как казанская купчиха. А я — нет. Я крала всё, что плохо лежало. Хлебные корки со стола. Кусок сала у поварёнка Митьки. Пуговицу с камзола лакея — блестящую, круглую, просто так, потому что блестела.

А однажды я украла воблу у Прохора.

Прохор любил воблу. Ему её привозили откуда-то с Волги, сушёную, связками, и он её ел медленно, по одной, вечером, после того как протопит все печи, — сидел у своей каморки на чурбаке, чистил, жевал и смотрел в огонь. Это было, кажется, единственное его удовольствие в жизни.

Я смотрела на это две недели. Из-за мешков. А потом, однажды вечером, когда Прохор отвернулся к печи, чтобы подкинуть полено, я выскочила, схватила воблу прямо с его колена и юркнула в печной продух.

Вобла была больше меня. Я тащила её, упираясь всеми четырьмя лапами. Она застряла в проходе. Я тянула. Она не шла. Я тянула сильнее. Сзади была огромная Прохорова рука, она шарилась в продухе, нащупывая меня. Я тянула изо всех сил. Вобла проскочила. Я с ней. В темноту.

Рука пошарила и вылезла обратно. Пустая.

И я услышала, как Прохор захохотал. Впервые. Мать потом говорила, что за три года, сколько она его знала, он ни разу не смеялся. А тут захохотал. Громко, хрипло, гулко, как в бочку.

— У, рыжая шельма! — сказал он. — Ну, шельма! Ну, рыжая!

И больше никогда не звал меня иначе.

* * *

Я ела ту воблу три дня. Она была солёная, жёсткая, как подмётка, и вкусная, как ничего больше в жизни.

А Прохор с того вечера стал ставить у своей каморки две миски. Одну с молоком. А другую, маленькую, — с кусочком воблы. Каждый вечер. Всю свою жизнь.

Я тогда думала, это потому, что я ему понравилась.

Фрр.

Я двести восемьдесят лет так думала.

Глава 3. Чистый дворец

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.